

ВЛАДИМИР КУРМАНАЕВ

Поэт, филолог

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВИКТОРЕ КРИВУЛИНЕ

Я был знаком с Кривулиным около пяти лет, из них два года или чуть больше видел его сравнительно часто. Познакомился с ним и его женой Олей в 1990 или 91 году. Он жил тогда в квартире на Петергофском шоссе. Кривулин — «пожелавший остаться живым» — таким и воспринимался. Он однажды сказал: «Всё-таки удивительная страна. Здесь одарённый человек никому не нужен». Сказано было неожиданно и с болью, ни раньше, ни позже я такого от него не слышал. Мы тогда знакомились с Россией, это было начало девяностых. Но в глубине души, мне кажется, он верил в возможность изменения этого положения или даже надеялся на свою ошибку.

Кривулин, как человек, пожелавший иметь отношение к сути, всего прочего последовательно избегал. Это всегда было ощутимо. Однажды я упомянул в разговоре о близком своём приятеле, художнике, который включал магнитофон с записями музыки Баха в исполнении Глена Гульда и практически не выключал его на протяжении всего дня. Это было в самый тягостный, иступлённый, голодный период. Кривулин сначала не услышал, но когда я повторил рассказ о казавшемся мне находчивым поведении, он, снисходя к моему анахроническому легкомыслию тридцатилетнего человека, заметил, усмехнувшись: «Ну, можно, конечно, и так...» Вообще они с Олей, его женой, очень напоминали ангелов в те жутковатые времена.

Виктор много работал. Одним из первых в стране, вероятно, познакомился с «наслаждением» утраты набранного на компьютере текста, над которым провёл всю ночь (он работал по ночам). Кривулин осваивал тогда новый жанр газетной и журнальной статьи — эссе. «Вы представляете, что такое написать статью?» — произнёс он однажды, как первооткрыватель, описывающий впервые увиденный ландшафт. Позже он говорил, что взял для себя образцом Ходасевича и старается писать так, чтобы это можно было когда-нибудь собрать воедино и издать.

Кривулин первым начал писать о своих современниках, проявляя к их творчеству живой интерес. Запомнились его высказывания. Например, он утверждал, что не читает переводов. Полагал, что занятие переводами испортило стиль Бродскому. Однажды он сказал что-то хорошее о Кушнере, и я признался, что не воспринимаю его. Кривулин очень удивился и стал хвалить раннего Кушнера, даже прочитал что-то наизусть. Соснору он любил и гордился тем, что Соснора хорошо к нему относится. Когда я как-то повторил опять-таки мнение приятеля, что некоторые тексты Сосноры вызывают смех, он немедленно возразил, что совершенство поэтического языка делает их неуязвимыми.

В сущности, он никогда не настаивал на себе, но предлагал себя и в себя верил. Так же поступал и с другими, если пытался им помочь, и когда они не столь верили в себя, это приводило к обратным результатам. Кривулин постоянно говорил о том, что писательская деятельность должна при-

ти в свою норму, что надо перестать «пасти народы», что книги должны быть хорошо изданы и стоить дорого.

Прошлое своё Кривулин высоко ценил. Однажды к нему пришёл начинающий режиссёр, желающий снять фильм о кафе «Сайгон» и деятелях подпольной культуры. Кривулин, полагая, рассказал ему о его фильме всё, он просто создал этот фильм, и режиссёру оставалось только его испортить, что он, кажется, и сделал. (Фильм назывался «Чхая о „Сайгоне“». Много места в нём отведено монологу самого Кривулина, чем фильм остался ценен.) Кривулин понимал людей и относился к ним с доверием. Он гордился, как мне показалось, тем, что жил в Комарово, в номере, где проводила последние годы Ахматова и где он её когда-то навещал. После Ахматовой в этом номере жила Вера Панова. Но в качестве помещения для работы номер ему не нравился. «Приморённый номерок», — резюмировал он и в ответ на моё недопонимание пояснил: «Люди здесь не жили, а доживали».

Кривулин, я думаю, ненавидел всё ординарное. Но и ординарность противостояния ординарному ему претила. Иногда эта разнонаправленность достигала критического рубежа. В день нашего знакомства он рассказал мне, что Бродский обратился к нему с предложением о сотрудничестве. Кривулин согласился и начал работать (это была то ли книга, то ли сценарий о Мандельштаме), но параллельно напечатал, как он выразился, две «антибродские статьи». Бродский, по словам Кривулина, «резко оборвал» или «резко прервал» контакты. Здесь надо заметить, что если бы не Кривулин, два столь глубоких знатока Мандельштама могли создать что-то совершенно исключительное, невообразимое. Но, вероятно, дело в том, что они по-разному смотрели на вещи, и Кривулин полагал, что соавторство не исключает взаимной критики, которую Бродский в их ситуации мог счесть как минимум непоследовательностью.

Однажды, когда я пришёл к нему, он спросил: «Как Вам статья (или интервью) Бродского?» Его возмутили слова Бродского о вине русского языка. Мне кажется, это возмущение отражает расхождение их поэтик. Они почти ровесники, знакомые, петербуржцы, но как бы разных поколений. Бродский — индивидуалист, протестант в религиозных воззрениях (во всяком случае, какой-то период). Основа его поэтики — самое главное в нём самом, о чём он скажет только самому себе, и то не прямо, а намёками. Основа поэтики Кривулина — язык, он филолог, воспитанный в стенах Санкт-Петербургского университета в те времена, когда самое важное там говорилось структуралистами. Кроме того, язык православного по религиозным воззрениям человека, чтящего Слово в Храме. Кривулин обиделся не за русский язык, не за свой язык, а за Язык.

Он постоянно говорил о языке и о том, что «с нами что-то делается», что поэты-эмигранты избежали влияния процессов, происходивших в языке, а оставшиеся в России не избежали. Говорил, что на место «мифологемы» становится «политема», что сознание политизируется и нас заставляют думать о том, о чём мы не хотим. Кривулин полагал, что нашему сознанию свойственна подключённость к тому, что делается «наверху»,

называл его имперским. Не эта ли мысль о «подключённости» привела его к монархическим воззрениям, которых он придерживался в 90-х годах? При этом народное уважение к силе его не интересовало, он основывал свои взгляды на красоте монархической идеи в сознании народа. Распада России он не боялся, потому что империей в древнем смысле Россию не считал.

Он был, кажется, довольно невысокого мнения о современном состоянии русской филологии. Кроме того, исчерпанность определённых тем была для него решённым вопросом. Когда я сказал ему, что написал работу о Пушкине, он ответил: «Володя, я не понимаю». О состоянии петербургской университетской филологии, в частности, он отзывался довольно скептически: «Ну, что там Алик Муратов?!» Свою изолированность в советские времена Кривулин воспринимал как шанс, даваемый его основательности. Эту основательность он, мне кажется, ценил больше всего. И вместе с тем понимал опасность изолированности, которая может спровоцировать иллюзию самодостаточности.

Слишком широкая или лёгкая популярность людей, относившихся когда-то к подпольной культуре, мне кажется, тоже не вызвала в нём сочувствия. Он с раздражением сказал при мне: «Лена Шварц растеряла своих читателей». О певце Гребенщикове он публиковал стихи, в которых также угадывалось раздражение («Из всех щелей поёт Гребенщиков»). Смеялся над поэтом Андреем Крыжановским, жаловавшимся на «подпольную» судьбу.

Помню его слова о Сталине: «Сталин произвёл социальную систему, в которой для человека всё в мире было прекрасно, кроме него самого».

Где-то в апреле 1989 года, ещё не будучи с ним знаком, я забрёл на вечер Кривулина в лекторий на Литейном. Народу в зале было сравнительно немного. Кривулин, ныряя головой вправо и влево и подставляя слушателям щеку, рассказывал о современном состоянии поэзии, о своей трёхмесячной поездке в Париж, читал стихи. К сожалению, записей я не вёл, запомнились несколько мыслей. Он говорил о том, что интерес к поэзии упал и что надо с этим считаться, что не надо «вовлекать». Говорил он ещё, что в период демократизации жизни художник обязан не забывать о художественном аристократизме. В противном случае его ждёт популярное искусство, как показал опыт Вознесенского и Евтушенко. Говорил об исчезновении отрицательного импульса в отношении всего окружающего, который присущ, на его взгляд, русскому человеку. У иностранцев он трагического мироощущения не находил, чем объяснял неуспех в Сорбонне Бердяева и носительный неуспех Шестова. Помню ещё, что среди прочих прочитал он стихотворение, в котором возможность увидеть надгробие с именем Набокова сравнивалась с самоубийством.

В тот период Кривулин анализировал саму природу существования в России поэзии. Он задавался вопросом, не была ли поэзия простым замещением отсутствовавшего эпоса. Его потрясала мысль, что до XVIII или даже до XIX века никакой поэзии в России не существовало (поэзия XVIII века могла оказаться просто «завезённой»). Кривулин же полагает,

что поэзия — беседа с личным Богом и к литературе отношения не имеет (адресат поэта — его собственная идеальная ипостась, адресат прозаика — читатель). Он опасался, вероятно, что поэзия не имеет в России глубоких корней. Сам он утверждал (как человек, не изменявший здравому смыслу), что стихи теперь не нужны, и писал статьи и эссе. Говорил, что теперь спасти может рефлексия. Однако одновременно с этим мог высказать намерение издавать со временем журнал, которого никогда не было в России, — журнал, где будет только поэзия.

Кривулина беспокоило, вызывают ли его стихи, наполненные литературными аллюзиями, соответствующие ассоциации. Однажды он, прочитав мне стихотворение «То колющий, то режущий уют...», спрашивал, вызывает ли оно в памяти соответствующий мотив романа «Идиот».

Зная, как трудно стало писать стихи (кажется, по себе), он поддерживал других, говорил, что друзья его вновь постепенно начинают писать стихи, в разговорах постоянно убеждал писать эссе, давал читать эссе, приносимые ему другими, и спрашивал о них мнение.

Всё, что он говорил тогда, как теперь ясно, обнаруживало то главное, что его тревожило и семнадцать лет назад, и позже, — вопрос об условиях сохранности русской культуры и русской поэзии.

Здесь надо бы закончить, но хочется добавить следующее: Кривулин великолепно улавливал процесс. Названный им процесс предстал как очевидность. А вот ценность субъекта, в процессе участвующего, и для Кривулина очевидная, не была для всех столь очевидной. Но мне всегда казалось, что мнение Кривулина о процессе в каком-то виде, какими-то путями доходит до людей, влияющих на процессы. А вот с ценностями, ему дорогими, поступают не совсем так, как ему бы, вероятно, хотелось. Например, он где-то писал (кажется, в газете «Литератор») и говорил о том, что в России нет священников, способных иметь дело с интеллигенцией. Мне кажется, мнение было воспринято — интеллигенция доведена до того состояния, когда ей довольно затруднительно иметь дело со священником.

Кривулин высказывал мнение, что подпольный литератор имел то дополнительное преимущество перед официальным, что ему не приходилось сопротивляться влиянию не только официальной цензуры, но и общественному влиянию. В качестве литераторов, отчасти успешно противостоявших официальной цензуре, но испытавших деформирующее их дарование общественное влияние, Кривулин называл Битова и Искандера. Развитие этого процесса, во всей его сложности, не осталось без его внимания. Он был убеждён, что корпоративный интерес приобрёл гораздо более серьёзное влияние на пишущего, чем влияние цензуры или общественности, и соблазняет глубже. Но в нём есть и преимущество для пишущего — он преодолит, в отличие от прочих влияний.